

«ЧЕЛОВЕК РОДА ОН»: футляры мужественности

Мужчина – человек рода он, не женщина, мужского пола... **Мужество** – состояние мужа, мужчины, мужского рода, пола вообще; противополож. *женство*.

Владимир Даль

Каждое понятие по закону и по сути вписано в цепочку или систему, внутри которой оно посредством систематической игры различений отсылает к другому, другим понятиям.

Жак Деррида

Отрицание того, что делают другие, связывает с ними.

Виктор Шкловский

(180) **В** своей работе, посвященной анализу форм и практик «мужского господства», Пьер Бурдьё отмечал:

Пытаясь понять тот или иной объект, мы включаем себя – как мужчин и женщин – в состав этого объекта, воспроизводя тем самым историческую структуру мужского порядка в виде бессознательных схем восприятия и оценивания. Поэтому когда мы пытаемся понять мужское господство, мы склонны прибегать к способам мышления, которые являются продуктами этого самого господства. Единственную надежду на выход из этого круга дает поиск практической стратегии объективации самого субъекта научного объективирования¹.

Под «субъектом объективирования» в данном случае Бурдьё, конечно же, имеет в виду «мужчину» – как сложившийся набор поведенческих практик, способов восприятия и репрезентации окружающего мира и, соответственно, тех форм аргументации, с помощью которых существующий «порядок вещей» приобрел статус «естественных». Призывая «объективировать» – т.е. сделать очевидными и, следовательно, контролируемыми – позиции, с точки зрения которых эта мировоззренческая иерархия стала возможной, Бурдьё, однако, далек от того, чтобы рассматривать эту иерархию как результат осознанного или неосознанного «заговора» определенной группы людей, стремящихся воспользоваться своим привилегированным положением. Скорее, принципиальными для социолога стали те символические стратегии, те «умолчания» и те «высказывания», которые, собственно, и предотвращают появление возможных вопросов об исторической специфичности и, соответст-

¹ Bourdieu P. *Masculine domination*. Stanford, 2001. P. 5.

венно, об исторической временности тех или иных социальных ролей и явлений, гносеологических схем и интерпретационных традиций. Как отмечает Бурдьё, сила мужского порядка проявляется прежде всего в том, что этот порядок не нуждается ни в оправдании, ни в подтверждении: и в восприятии окружающего мира, и в языке «мужской род» приобретает статус нейтрального и немаркированного². В итоге социальное господство «мужского порядка» может, например, приобретать статус грамматической нормы, по отношению к которой описываются все остальные «вариации» и «исключения»³. Именно этот, так сказать, *социально-грамматический эффект «мужского порядка»*, именно эта проблема социального происхождения *начальных форм*, т.е. определенных символических «правил» и «установок», с помощью которых формируются и формулируются другие правила и установки, и должен стать определяющим, по мнению Бурдьё, при анализе происхождения и осуществления режима «мужского господства».

Используя в качестве отправной точки идею Бурдьё об объективизации «субъекта объективирования», в данной статье я попытаюсь очертить основные направления, по которым, на мой взгляд, может пойти каталогизация разнообразных конфигураций *мужественности*. В основе данного текста лежит стремление понять, как воспроизводится несоразмерность «мужского порядка», с одной стороны, и тех «исходных» носителей, которые этот порядок призваны олицетворить, – с другой. Иными словами, как именно разрозненный и противоречивый набор «мужских» практик в процессе перевода на язык символов и знаков приобретает стройные черты «мужского» порядка?

Выбор «*мужественности*» в качестве основного объекта анализа обусловлен рядом причин. Разумеется, наиболее значимой является свойственное современному обществу стремление к тому, что Лев Шестов называл «преодолением самоочевидностей»⁴. В данном случае речь идет о попытке понять то, каким *образом* достигается «самоочевидность» таких понятий, как «мужчина» и «мужественность» в частности и «пол» и «половая идентичность» в целом; в силу чего и за счет чего они приобретают «устойчивость» и «незыблемость». Попытка проблематизировать и – отчасти – дестабилизировать понятие «мужественность» имеет и еще один, вполне очевидный, источник. На мой взгляд, теория феминизма конца прошлого века в значительной сте-

² Bourdieu P. *Masculine domination*. P. 9.

³ Вот как, например, излагает учебник русского языка для средней школы суть такой части речи, как «прилагательное»: «Прилагательное очень гибкое слово: оно может приспособиться к любому существительному... Начальная форма прилагательного – форма мужского рода, единственное число, именительный падеж» (Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д. *Русский язык. Теория. 5–9 классы*. М., 2002. С. 135).

⁴ Шестов Л. Преодоление самоочевидностей // Шестов Л. *Сочинения в 2-х т.* Т. 2. М., 1993.

пени смогла преодолеть «узкоцеховую» раздробленность и самопоглощающий «нарциссизм мелких различий» и в ряде работ, посвященных прежде всего вопросам субъектности и субъективности, сумела предложить методологические концепции, которые выходят за пределы исключительно «женской» тематики⁵. Типология анализа форм «мужественности» во многом является попыткой взглянуть на это явление сквозь призму зарубежных теоретических концепций и схем.

(Само)очевидность роли теории *западного* феминизма в анализе *местной* «мужественности» – следуя призыву Шестова – требует естественного «преодоления». Суть этого преодоления, на мой взгляд, во многом связана с характером и способами интеллектуального взаимодействия между «Востоком» и «Западом», взаимобмена, чей (потенциальный) диалогизм нередко сводится к уровню банальной (и односторонней) транслитерации понятий⁶. История *гендера* в России – один из наиболее типичных примеров подобного рода.

Поскольку терминологическая неразборчивость, усиленная терминологической экспансией подавляющего числа сторонников исследований *гендера*, очень часто ведет к концептуальной и теоретической невнятности анализа «мужественности» и «пола», я попытаюсь кратко обрисовать основные структурные причины, которые, на мой взгляд, активно способствуют формированию «гендерного тупика» как особой ветви отечественной социологии и философии пола.

Подкованный «гендер»

Создается впечатление, что перед нами любопытный замкнутый круг: непризнание истоков терминов порождает проблему их согласования, а усилия разрешить проблему усугубляют исходное непризнание.

Жак Лакан

По своей роли в постсоветских общественных науках «гендер» во многом напоминает мне «ваучер». В то время как единицы успели «сориентироваться» и вовремя вложили свой «гендер» (или ваучер) в доходный фонд⁷, в большинстве своем гуманитарно настроенная об-

⁵ См., напр.: Kristeva J. *Powers of horror: An essay on abjection*. N. Y., 1982; Butler J. *Subjects of desire: Hegelian reflections in the twentieth century*. N. Y., 1999.

⁶ О других аспектах этого взаимобмена см. мою рецензию: Ушакин С. Познавая в сравнении: о евростандартах, мужчинах и истории // *Новое литературное обозрение*. 2003. № 64.

⁷ Татьяна Барчунова, на мой взгляд, совершенно справедливо охарактеризовала большую часть женских неправительственных организаций – основных проводников идеологии «гендерных» исследований – как «форму скрытого бизнеса», заметив при этом, что «активность в неправительственных организациях становится экономическим ресурсом», способствующим форми-

щественность, оказавшись не в состоянии перевести на язык «родных осин» эту полезную категорию, так и продолжала безучастно оставаться в стороне. Как получилось, что категория, потенциально способная если не подорвать, то в значительной степени изменить сложившиеся/сложившиеся представления о механизмах воспроизводства полового неравенства, о механизмах производства субъектности и субъективности, о механизмах реализации власти и, наконец, механизмах производства желаний и форм его удовлетворения, при «переводе» на русский язык оказалась лишенной своего «революционизирующего» запала? Почему категория, затрагивающая *все основные* сферы жизни и деятельности человека, в отечественной интерпретации оказалась неспособной спровоцировать какой-либо *значительный* интерес со стороны специалистов-обществоведов, оставаясь во многом категорией академического меньшинства, особо и не пытающегося преодолеть (собственноручно воздвигнутую) полосу отчуждения?

Из известного лесковского рассказа про Левшу обычно хорошо помнят то, что стальную танцующую блоху-«нимфозорию» – подарок англичан русскому императору – подковали тульские мастера-умельцы. Реже помнят другое – что блоха после такого ювелирного облагораживания танцевать перестала. Изумленные англичане долго допытывались у Левши, где и чему тот учился и «до каких пор арифметику знает». Выяснив, что арифметику не знает вовсе, посетовали: «Это жалко, а то вот хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и её подковок несть не может. Через это теперь нимфозория и не прыгает и дансе не танцует»⁸.

«Гендер», переведенный на русский, на мой взгляд, оказывается в сходной ситуации – он с трудом «прыгает» и уж точно «не танцует». Тяжесть местных подков оказалась непосильной для аккуратно рассчитанной точности англоязычной аналитической категории. Не претендуя на целостность обзора, мне хотелось бы кратко остановиться на тех причинах, которые, на мой взгляд, лежат в основе неудачных попыток русифицировать «гендер»⁹.

Отечественные исследователи «гендера» в своих работах любят ссылаться на Джоан Скотт, специалиста по французской истории из Прин-

рованию «"класса профессиональных активистов", для которых работа в неправительственных организациях становится главным средством существования, а также "средством передвижения" по "странам и континентам"» (Барчунова Т. Женские негосударственные организации: особенности и тенденции // Супрун В.И. (ред.). *Семья и женщина: реальность и тенденции*. Новосибирск, 1998. С. 132).

⁸ Лесков Н. *Собрание сочинений в 6 т.* Т. 4. М., 1973. С. 48.

⁹ Краткий библиографический обзор по данной теме см.: Дашкова Т. Гендерная проблематика: подходы к описанию // Бордюгов Г.А. (ред.). *Исторические исследования в России – II. Семь лет спустя*. М., 2003.

стона, которая в 1986 г. предложила расширить аналитический арсенал (исторической) науки за счет использования термина *gender*, этой «полезной категории исторического анализа», как ее охарактеризовала сама Скотт¹⁰. В отечественном варианте, однако, в этой формулировке акцент обычно делается на прилагательном «полезный», в то время как *категориальная, аналитическая* природа «гендера» остается, как правило, в тени. Например, в 1996 г. А. Посадская ретроспективно аргументировала полезность данной категории следующими факторами:

Следуя за дискуссиями среди феминисток, было решено ввести в русский язык слово «гендер», чтобы избежать всяких ложных коннотаций и создать ситуацию, когда людям будет интересно содержание незнакомого слова. Введение концепции «гендера», с одной стороны, позволило расширить различия между биологической и социальной стороной в конструировании фемининности и маскулинности... с другой стороны, оно явилось важным инструментом для того, чтобы избежать критики относительно «забвения мужчин». Но, что было особенно важно, оно открыло возможность введения женских исследований в России в глобальные феминистские дебаты, позволяя преодолеть их историческую изоляцию, как и претензию (ненамеренную) быть «совершенно специфическими»¹¹.

(184)

Цитата, на мой взгляд, четко демонстрирует стратегические принципы, на которых во многом строится идеология и философия отечественных «исследований гендера»: лингвистические заимствования призваны обеспечить вполне утилитарные – в данном случае, так сказать, «геостратегические» – цели. В свою очередь, результат исследования подменяется эффектом терминологической новизны. Происходит ли при этом желаемое расширение «различия между биологической и социальной стороной в конструировании фемининности и маскулинности»? Вряд ли. Скорее, происходит то, что Пьер Бурдьё справедливо и точно назвал процессом «соматизации социальных отношений господства»¹², при котором иерархия анатомически дифференцированных *тел* (женщины/мужчины) оказывается в основе анализа сети *социальных* отношений.

Приведу показательный пример. Известная московская демограф Н.М. Римашевская в одной из своих статей пишет: «Проблема гендерной асимметрии проявляется прежде всего в том, что женская ра-

¹⁰ Русский перевод статьи см.: Скотт Дж. Гендер: полезная категория исторического анализа // *Гендерные исследования*. 2000. № 5. Здесь и далее я пользуюсь собственным переводом оригинала: Scott J. Gender: A useful category of historical analysis // Scott J. *Gender and the politics of history*. N. Y., 1988.

¹¹ Посадская А. Женские исследования в России: перспективы нового видения // Малышева М. (ред.). *Гендерные аспекты социальной трансформации*. М., 1996. С. 21.

¹² Bourdieu P. Op. cit. P. 23.

бочая сила, осложненная социальными факторами, связанными с разделением ролевых функций по полу, теряет свою конкурентоспособность на рынке труда»¹³. Проблема «гендерной асимметрии», говоря проще, оказывается следствием асимметрии сложившихся *половых ролей*, но рынок труда продолжает при этом восприниматься как место конкуренции женской и мужской «рабочих сил», потенциально равных между собой. Конкуренция в данном случае понимается исключительно как конкуренция анатомически различаемых тел, вернее – анатомические признаки выступают тем основным фактором, который, собственно, лежит в основе дифференциации «рабочей силы». Вопрос о том, может ли «женская» – равно как и «мужская» – «рабочая сила» существовать на рынке труда, *не будучи* при этом «осложненной социальными факторами, связанными с разделением ролевых функций по полу», остается за скобками. «Гендерная асимметрия» в итоге оказывается лишь обновленным вариантом «полового диморфизма», а анатомические различия *тел* – исходной и конечной точкой исследования, не столько способствующего, сколько препятствующего анализу *социальной природы* пола¹⁴.

Приведу еще один пример. Московская социолог Галина Силласте в статье с характерным названием *Гендерная социология как частная социологическая теория*¹⁵, отметив «попутно... что в "чистом виде" понятие "гендер" самостоятельного социального содержания не имеет», пишет, ссылаясь на работы Н. Смелзера:

Признак половой идентичности определяет сексуальные роли, которые проявляются в разделении труда, в различиях прав и обязанностей мужчин и женщин. ...При фиксации различий между мужчинами и жен-

¹³ Римашевская Н.М. Гендер и экономический переход в России // Малышева М. (ред.). *Гендерные аспекты социальной трансформации*... С. 39.

¹⁴ См.: Римашевская Н.М. Гендерные аспекты социально-экономической трансформации в России // *Народонаселение*. 2000. № 2.

¹⁵ Вопрос о том, как именно «гендерная социология» – т.е. специфический набор исследовательских практик, связанных с изучением отношений между полами, – превращается в социологическую *теорию*, предполагающую наличие стройной системы интерпретационных принципов, у Силласте остается непроясненным. Анализ теоретических принципов «частной социологической теории» заменен в тексте ссылкой на абстрактную «теорию среднего уровня» Р. Мертона и дискуссией о проблемах соотношения «гендерной социологии» и феминизма (в качестве *теоретических* принципов в данном случае предложены: принцип «приоритета социальных интересов женщин»; принцип «социально-критического отношения ко всем без исключения фактам дискриминации по половому признаку»; принцип вооружения «женских движений... стратегией преодоления всего, что препятствует консолидации женщин», и, наконец, принцип «необходимости строго учитывать для женской социальной общности биолого-физиологические особенности пола в борьбе феминисток». См.: Силласте Г. *Гендерная социология как частная социологическая теория* // *Социологические исследования*. 2000. № 11. С. 8–9.

щинами многие западные социологи... не ограничиваются проблемой половой идентичности и анализируют социальные отношения в зависимости от пола. В этом контексте категория «гендер» еще не является социальной. Социальная суть явлений проявляется только тогда, когда возникают социогендерные отношения, выявляемые в ходе социологических исследований, или когда изучается социальный статус конкретной половой (гендерной) группы¹⁶.

Проблема не только в том, что параметры и структура «контекста», способного лишить «гендер» социального значения и содержания, так и остаются невыявленными. Важнее другое – подобно Римашевской, источник различия «прав и обязанностей мужчин и женщин» Силласте в конечном итоге видит в *признаке* половой идентичности, а, допустим, не в сложившейся конфигурации власти. Показателен и еще один момент: несмотря на заявленную фундаментальную значимость «признака» половой идентичности как для разделения труда, так и для правовых различий между мужчинами и женщинами, ни сам «признак», ни «половая идентичность» необходимыми и достаточными условиями для *социального* анализа не являются и должны быть дополнены бессодержательным «гендером».

Методологическая полезность «гендера» оказывается ненамного очевиднее и тогда, когда его использование основано не на прагматических политических интересах, а преследует определенную аналитическую цель. В статье, посвященной трансформации «истории женщин» в «гендерную историю», московский историк, например, констатирует, что, «будучи фундаментальным организующим *принципом описания и анализа* различий в историческом опыте женщин и мужчин, их социальных позициях и поведенческих стереотипах и в чем бы то ни было еще, *категория* гендера должна быть методологически ориентирована на подключение к более общей *объяснительной схеме*» (курсив мой. – С. У.)¹⁷. Сразу за этим выводом следует неожиданный поворот:

Поскольку *гендерные модели* «конструируются» обществом (т.е. предписываются институтами социального контроля и культурными традициями), воспроизводство *гендерного сознания* поддерживает сложившиеся системы отношений господства и подчинения, а также разделения труда по *гендерному признаку*. Понятно, что в этом отношении *гендерный статус* выступает как один из конституирующих элементов социальной иерархии и системы распределения власти, престижа и собственности наряду с этнической и классовой принадлежностью. Именно таким образом в конечном счете смещение «нервного центра» *гендерной асимметрии* от природных характеристик к социально-культурным включило

¹⁶ Силласте Г. *Гендерная социология...* С. 6.

¹⁷ Репина Л.П. Пол, власть и концепция «разделенных сфер»: от истории женщин к гендерной истории // *Общественные науки и современность*. 2000. № 4. С. 124.

отношения между полами во всеобъемлющий комплекс социально-исторических взаимосвязей (курсив мой. – С.У.)¹⁸.

Логика «большого скачка» от *гендера* как «*фундаментального принципа* описания и анализа» (уже существующих?) различий к гендерным *моделям*, гендерному *сознанию*, гендерному *признаку*, гендерному *статусу* и гендерной *асимметрии* при этом остается неочевидной. Если «гендер», как и другие категории (например, «функция» или «структура»), есть не что иное, как плод аналитического воображения, облегчающий «ориентировку на местности», но не имеющий ничего общего с этой местностью, то как именно происходит трансформация этого «*фундаментального принципа описания*» в «один из конституирующих элементов *социальной иерархии*» (курсив мой. – С.У.)? Кто именно в данном процессе выступает предписывающим «институтом социального контроля» и чьи именно «культурные традиции» навязываются в качестве нормативных? Не является ли эта «трансформация» элементарным следствием отождествления *метода* анализа с *объектом* анализа, т.е. следствием интеллектуальной проекции самой исследовательницы, в ходе которой аналитическая и описательная *категория* начинает определять параметры *объекта* исследования? Наконец, почему только «гендерная асимметрия» со смещенным («нервным») центром позволяет воспринимать «отношения между полами» как комплекс взаимосвязей? Вернее, почему без подобных («нервных») смещений и («гендерных») асимметрий комплексный анализ отношений между полами в отечественных условиях оказывается вдруг невозможным?

(187)

«ЧЕЛОВЕК РОДА ОН»

Напомню, что свою широко ныне цитируемую статью о полезной категории исторического анализа Скотт начала с примечательной фразы: «Те, чья задача состоит в кодификации смысла слов, терпят поражение, потому что слова – так же, как идеи и вещи, которые эти слова призваны обозначить, – имеют свою историю»¹⁹. Далее, как известно, Скотт детально описывает феминистский пируэт в истории слова «*gender*» – слово, изначально использовавшееся для обозначения грамматического *рода*, стало сознательно употребляться феминистками для подчеркивания «социальной организации отношений *между полами*» (курсив мой. – С.У.)²⁰.

Ключевым в процитированной фразе Скотт является, разумеется, слово «*история*». Кодификация смысла оказывается невозможной именно потому, что предыдущее, *исторически сложившееся*, значение вступает в противоречие с новой, *складывающейся* практикой его – слова – использования. Дестабилизирующий смысловой эффект (феминизма), таким образом, становится функцией исторического (па-

¹⁸ Репина Л.П. *Пол, власть и концепция «разделенных сфер»*... С. 124.

¹⁹ Scott J. *Gender: A useful category*... P. 28.

²⁰ Ibid.

триархального) контекста, являясь возможным лишь при наличии определенного – в данном случае, семантического – прошлого, при наличии определенных – в данном случае, лексических – рамок. Говоря иначе, *изменение* традиций и нормативов требует в качестве естественной предпосылки существования (и осознания) этих самых традиций и нормативов. Или, в иной транскрипции, историзм *явления*, т.е. его трансформация во времени, может быть очевидным лишь на относительно стабильном *фоне*.

Данное соотношение динамики и статики неизбежно и при *анализе* трансформаций. О подобном методологическом законе еще в начале XX в. писал Фердинанд де Соссюр, специально подчеркивая логическую невозможность *совмещения* анализа диахронических, эволюционных, отношений *между* элементами внутри системы с анализом синхронических, т.е. существующих на данный момент, отношений *между* элементами *и* самой системой²¹. «Попытка объединить внутри одной дисциплины столь различные по характеру факты, – писал Соссюр, – представляется фантастическим предприятием»²².

Сформулирую ту же самую мысль проще: изменение *системы* (гносеологических, лингвистических, идентификационных координат) вряд ли возможно без устойчивой «точки» опоры *вне* этой системы, и, соответственно, можно сколько угодно заниматься «смещением центра» *в рамках* системы, не производя при этом каких бы то ни было существенных изменений общей конфигурации, будь то язык, теоретическая парадигма или, например, социальная структура. Анализ динамики «отношений *между* полами», таким образом, всякий раз с неизбежностью основывается на допущении относительной стабильности (существования) *самих* «полов». В свою очередь, акцент на нестабильности «пола», неспособности данной категории и явления выступать в качестве самодостаточного и телеологического *основания* как идентичностей, так и связанных с ними практик дает возможность приступить к аналитическому разбору (или демонтажу) того гносеологического, лингвистического и т.п. «фундамента», благодаря которому «пол», собственно, и производит впечатление изолированной, т.е. *самостоятельной*, категории.

Именно эту взаимосвязь элементов и системы и подчеркивала Джоан Скотт в ряде своих статей, отмечая, что привилегированное аналитическое положение той или иной *категории*, превращение этой категории и в *объект* (т.е. источник знания), и в *метод* (т.е. способ получения знания) исследования с неизбежностью ведет к методологической ги-

²¹ Как отмечал де Соссюр, «синхроническое явление не имеет ничего общего с диахроническим: первое есть отношение между одновременно существующими элементами, второе – замена во времени одного элемента другим, то есть событие» (Соссюр Ф. *Труды по языкознанию*. М., 1977. С. 123).

²² Там же. С. 118.

перинфляции, возводящей *категорию* в статус *системы*²³. Обращая внимание на иллюзорную, фантазматическую природу «целостности» категорий, Скотт вновь и вновь акцентировала то, что:

...категории идентичности, основы которых мы рутинно видим в физических особенностях наших тел (пол и раса) или в нашем культурном наследии (национальность, религия), на самом деле оказываются увязанными с этими основами лишь ретроспективно: предсказуемая и естественная последовательность в данном случае отсутствует. Иллюзия непрерывности становится итогом ссылок на категории людей (женщины, рабочие, афро-американцы, гомосексуалисты), как будто сами эти категории не подвержены переменам, в отличие от исторических обстоятельств, в которых эти категории пребывают²⁴.

Как можно примирить с этим глубоко исторически ориентированным подходом, с этим последовательным стремлением обнаружить «археологический» фундамент и категорий исследования, и той системы, в пределах которой эти категории возникли и приобрели господствующее значение, настойчивые отечественные попытки убедить в аналитической полезности категории, которая не имеет ни исторического прошлого в рамках сложившейся *системы* общественнознания, ни устойчивых отношений с *другими категориями* данной системы?²⁵ Если *аналитическая* цель западных *gender studies* состоит в попытке показать, что *смысл* тех или иных категорий, используемых при создании картины реальности, исторически обусловлен и потому изменяем; если *политическая* цель западных *gender studies* как раз и состоит в практической попытке изменить *реальность*, начав с изменения категорий, с помощью которых эта реальность конструируется и приобретает структуру, то что может дать – хотя бы гипотетически – подобный терминологический импорт, при котором изначальное стремление деконструировать устоявшийся смысл базовых идентификационных понятий оказалось сведенным к стремлению обустроить символическое поле, необходимое для существования поспешно импортированной категории? Насколько велика прибавочная стоимость этого неэквивалентного символического (термино-)обмена?

В этом отношении любопытно использование «гендера» исследователями, предпочитающими недвусмысленно дистанцироваться от обвинений в возможной «политической ангажированности». Например, московский филолог А. Кирилина, настойчиво подчеркивающая в

²³ Scott J. The evidence of experience // *Critical Inquiry*. 1991. Vol. 17(4). P. 777.

²⁴ Scott J. Fantasy echo: history and the construction of identity // *Critical Inquiry*. 2001. Vol. 27. P. 285.

²⁵ Проблема *практик*, которые данная категория призвана описать, представляет собой еще один, не менее противоречивый пример соотношения импортной категории и отечественной реальности.

своих работах отсутствие (необходимости) «феминистского» влияния в отечественной лингвистике²⁶, характеризует «лингвистическую гендерологию»²⁷ как «постмодернистскую лингвистику, отрицающую как общую методологию, направленную на поиск объективной истины, так и математические и логические методы, легче поддающиеся верификации» (с. 80). Каков коэффициент полезности «гендера» в данном случае? Минимален. Поясняя принципы употребления «гендера», Кирилина отмечает: «В монографии мы пользуемся преимущественно понятиями *гендер*, *социальный пол* и *пол*, рассматривая их в рамках своей работы как синонимы...» (с. 22). За заявкой о том, что «"гендер" ... оправдал себя прежде всего с концептуальной точки зрения, наиболее наглядно демонстрируя культурную, а не природную доминанту моделирования пола» (с. 22), следует вполне традиционный процесс соматизации социального:

Процесс категоризации в человеческом сознании идет от конкретного к абстрактному, поэтому сама номинация метафизических понятий «мужественность» и «женственность» была мотивирована конкретным человеческим опытом – наличием двух типов людей с разными функциями. Внутренняя форма метафизических категорий «женственность» и «мужественность» отсылает к людям разного пола и заставляет приписывать им качества, свойственные этим категориям... (с. 101).

В данном случае поражает не только та легкость, с которой филолог «попутно» – но окончательно – решает вопросы о сути процесса категоризации и о характере отношений между единичным и общим. «Закон индукции, – напомню Витгенштейна, – поддается *обоснованию* не в большей мере, чем определенные частные положения, относящиеся к материалу опыта»²⁸. Не менее важен и тот своеобразный стихийный фрейдизм аргументации, который позволяет автоматически воспринимать многообразие «конкретного человеческого опыта» сквозь призму «разных функций» «двух типов людей»²⁹, и та причудливая логика сме-

²⁶ «...Исследователям, имеющим опыт жизни в СССР, хорошо известно, какие ограничения накладывала на свободу научного поиска марксистская идеология, поэтому нет никаких оснований утверждать, что любая другая идеология (в том числе и феминистская) скажется на развитии науки более плодотворно, чем марксизм-ленинизм» (Добровольский Д.О., Кирилина А.В. *Феминистская идеология в гендерных исследованиях и критерий научности // Гендер как интрига познания /* сост А.В. Кирилина. М., 1999. С. 21).

²⁷ См.: Кирилина А. *Гендер: лингвистические аспекты*. М., 1999. С. 22. Далее ссылки на это издание даются в скобках в тексте.

²⁸ Витгенштейн Л. О достоверности // Витгенштейн Л. *Философские работы*. Ч. 1. М., 1994. С. 383.

²⁹ О социальном конструировании подобной бинарности в процессе осмысления опыта восприятия см., напр., классический текст: Mead M. *Male and female: A study of sexes in a changing world*. N. Y., 1949; о процессе дискурсивной консервации сексуальной и половой таксономии см. также: Porter R.,

шения дискурсивного и практического, в ходе которой «внутренняя форма категорий» (курсив мой. – С.У.) вдруг начинает свою самостоятельную, – надо полагать, «метафизическую» – деятельность по отождествлению людей и категориальных качеств. Выступая не столько объектом анализа, сколько классифицирующим клише, «пол» в данном случае приобретает стабильность исходного бинарного понятия; понятно, что при таком подходе и сам «термин *гендерный* используется для обозначения полового диморфизма в языке...» (с. 31). Категория, призванная подчеркнуть социальные аспекты пола, вновь оказывается заурядной проекцией исходного биологического деления³⁰.

Разумеется, цель подобных примеров вовсе не в том, чтобы еще раз заявить, что терминологический импорт вреден и/или излишен – категориальный, да и концептуальный, аппарат отечественных общественных наук во многом состоит именно из таких – случайно и/или осознанно – «завезенных» продуктов. Проблема, повторюсь, не в импорте «продуктов», а в их усвояемости, т.е. в способности не вызывать реакцию отторжения организма на элементарном уровне. Виктор Шкловский, как всегда точно, сформулировал суть сходной методологической проблемы. «Трудность положения пролетарских писателей, – отмечал критик в середине 1920-х, – в том, что они хотят втащить в экран вещи, не изменив их измерения»³¹. Именно об этом элементарном, базовом соотношении «экрана» и «вещей» зачастую и забывают сторонники «гендерного измерения». Суть не в том, сможет или не сможет «завезенное» означающее найти для себя какое-либо означаемое. Суть в том, что *мотивировка* необходимости импорта понятия противоречит *практике* его использования: русифицированный термин в лучшем случае обречен на выполнение тавтологических и/или синонимических функций. И вряд ли является случайным то, что в результате подобной утраты какой бы то ни было аналитической полезности взятый напрокат

(191)

«ЧЕЛОВЕК РОДА ОН»

Teich M. (eds.). *Sexual Knowledge, Sexual Science: The history of attitudes to sexuality*. Cambridge, 1994; Epstein J., Straub K. (eds.) *Body guards: the cultural politics of gender ambiguity*. N. Y., 1991.

³⁰ Понятно, что анализ исторических, социологических, филологических и т.п. версий подобного деления вполне имеет право на существование. Речь о том, что это право вовсе не нуждается в терминологическом подкреплении со стороны «гендера». Пример откровенного «биологического» объяснения половых различий см.: Бутовская М.Л. Биология пола, культура и полорольевые стереотипы поведения у детей // *Семья, гендер, культура* / под ред. В.А. Тишкова. М., 1997. Критика биологизаторства в науках об обществе см.: Haraway D. *Simians, cyborgs, and women: Reinvention of nature*. N. Y., 1991; критика «генетического» подхода в «мужских исследованиях» см.: Whitehead S., Barrett F. *The sociology of masculinity* // Whitehead S., Barrett F. (eds.). *The Masculinities Reader*. Cambridge, 2001. P.10–12.

³¹ Шкловский В. *Третья фабрика*. М., 1926. С. 99.

«гендер» превращается в «тип интригообразования», в мистическую «междисциплинарную интригу познания»³².

Сформулирую чуть иначе. Если история постструктуралистской критики текста и способна оказать какое-либо методологическое влияние на практику социального анализа, то смысл этого влияния, разумеется, состоит не в отрицании логической последовательности исследования и не в методологической всеядности, но в том особом внимании, которое уделяется роли языка в процессе исследования. Являясь способом *выражения* результатов анализа, язык одновременно становится важнейшим *инструментом* самого анализа. На мой взгляд, именно об этой формирующей и сформированной роли языковых механизмов и забывают сторонники и сторонницы русификации «гендера». Речь, иными словами, идет о вполне конкретном случае методологической неразборчивости, в котором нежелание определяться с собственными теоретическими установками и принципами, нежелание – воспользуюсь известным феминистским понятием – локализовать свою «местоположенность»³³, т.е. нежелание очертить внешние пределы собственного поля зрения/исследования, «полезно» маскируются категорией, смысл которой оставляется непроясненным. В результате, как справедливо замечают Елена Здравомыслова и Анна Темкина, отечественные «гендерные исследования» оказываются в двойных тисках: отсутствие почвы, необходимой для «культурной легитимации гендерных исследований в российском общественном сознании» сопровождается отрывом отечественного «переводного феминизма» от исходных (зарубежных) теоретических оснований³⁴.

Несомненно, категориальная, концептуальная, методологическая или, например, стилевая последовательность – личное дело каждого конкретного исследователя. Проблема в другом. На мой взгляд, подобный теоретико-терминологический импорт, как мне уже приходилось писать³⁵, фактически лишает отечественную философию и социологию пола возможности продемонстрировать, что самоочевидность пола – и категории, и явления – есть результат определенных дисциплинарных усилий по формированию его *границ*, что устойчивость так называемых «половых признаков» определяется устойчивостью соот-

³² Халеева И.И. Гендер как интрига познания // *Гендер как интрига...* С. 10, 15.

³³ О «местоположенности» см. подробнее мои статьи: Ушакин С. Место-имени-я: семья как способ организации жизни // *Семейные узы: модели для сборки* / под ред. С. Ушакина. М., 2003; Ушакин С. Политическая теория феминизма // *Вопросы философии*. 2000. № 11. С. 37–38.

³⁴ Здравомыслова Е., Темкина А. Институционализация гендерных исследований в России // *Гендерный калейдоскоп: курс лекций* / под ред. М. Малышевой. М., 2002. С. 44.

³⁵ См.: Ушакин С.А. Пол как идеологический продукт: о некоторых направлениях в российском феминизме // *Человек*. 1997. № 2; Ушакин С.А. Поле пола: в центре и по краям // *Вопросы философии*. 1999. № 5.

ветствующих классификационных схем и клише, что, наконец, степень **пол**-ярности «мужского» и «женского», как и их иерархическое соподчинение, крайне далеки от того, чтобы являться репрезентацией анатомических различий. Иными словами, отечественная генеалогия понятия «пол», история отношений этой категории с устоявшимися – политическими, экономическими, эстетическими и т.п. – категориями, как и структурная и структурирующая роль этого понятия в самой знаковой системе и символических практиках оказались сведенными на нет попытками убедить, что наряду с «полом», «половыми отношениями» и отношениями «между полами» у нас есть еще и «гендер», полезная категория для анализа. Вполне в стиле традиций вульгарного марксизма деконструкция «пола» – так сказать, дестабилизация «базиса» – путем транслитерации *gender* свелась к формированию очередной «идеологической надстройке».

Гендер, разумеется, только начало «большого пути». Отсутствие соответствующей смысловой структуры закономерно проявилось в наращивании цепочки заимствованных означающих – за «гендером» последовали непере译имые *doing gender*, *queer studies* и тому подобные «эссенциализмы» оформляющегося параллельного «новояза». Сама по себе эта настойчивая терминологическая мимикрия вряд ли интересна. Важно другое. Мимикрия в данном случае – это не диагноз, а симптом. Симптом колониального сознания, с его глубоко укоренившимся кризисом собственной идентичности, с его неверием в творческие способности собственного языка, с его недоверием к собственной истории и собственным системам отсчета.

Показательно, что многочисленные рассуждения о полезности «гендера» и прочих атрибутов так называемых «исследований гендера», как правило, обходят молчанием один, казалось бы, очевидный вопрос. А именно: можно ли говорить о несовпадаемости импортируемого концептуального аппарата и той ситуации, для описания которой этот аппарат используется? Можно ли говорить о тех смысловых зазорах и интервалах между «западным» означающим и «местным» означаемым, благодаря которым, собственно, возникает и сохраняется историческое и культурное своеобразие? Или речь идет об универсальном теоретическом лекале, способном «охватить» любую реальность, независимо от ее происхождения?³⁶ Приведу последний пример. Предваряя специальный

³⁶ Предисловие петербургских социологов Е. Здравомысловой и А. Темкиной к *Хрестоматии феминистских текстов* является единственной известной мне работой, в которой сделана попытка напрямую обсудить проблемы перевода и переводимости иностранных теорий и концепций. Как пишут социологи, «переводя феминистские тексты, мы постоянно решаем дилемму верности: изменяем родному языку, желая сохранить верность оригиналу; в то же время изменяем оригиналу, загоняя его в русло родного языка. Такого рода *измены* оказываются неизбежными, поскольку перевод предполагает интерпретацию текстов и создание их новых версий. Таким образом, про-

выпуск журнала *Общественные науки и современность*, посвященный «гендерным исследованиям» в России, московский философ феминизма, например, отмечает:

В то время как на Западе уже сформировались идеи о необходимости различать понятия «пол» и «гендер» (1970-е гг.), в России слово «пол» употреблялось и тогда, когда речь шла о биологических его аспектах, и когда имелись в виду социальные аспекты, и даже тогда, когда говорили лишь об элементах комнатного декора³⁷.

Философ удобно забывает добавить, что «на Западе» речь шла о различении *sex* и *gender*, т.е. о различении категорий, ни одна из которых не имеет однозначного эквивалента в русском языке. Оставлено неотмеченным и то, что подобное различие (*sex/gender*) происходило и происходит в *рамках* одного и того же языка – путем сознательной дестабилизации глубоко укоренившихся смыслов. Показательно и еще одно умолчание: вместо использования уже имеющейся полифонии смысла таких понятий, как «пол», «род», «мужественность», «женственность», вместо попыток проследить причины и условия возникновения семантических смещений и переплетений предлагается внедрить одномерный «западный» стандарт, провести своего рода теоретический евроремонт...

(194) Пожалуй, единственным серьезным теоретическим тезисом в защиту «гендера» могла бы стать попытка показать, что «пол» – в отличие от «гендера» – *не является* продуктом и объектом власти, ее дискурсивных и институциональных механизмов подчинения и господства. В историческом плане сомнительность подобного аргумента очевидна любому читателю *Домостроя* или *Морального кодекса строителя коммунизма*: род, родовые отношения, пол, половая идентичность, половые отношения и, наконец, отношения между полами на протяжении отечественной истории являлись объектом социального контроля и коррекции, объектом подавления и сопротивления. Что именно, кроме тер-

исходит двойная измена, сохраняется двойная верность, формируя новую дискурсивность». Проблема, однако, как мне кажется, заключается в том, что «интерпретации и созданию новых версий» авторы зачастую предпочитают транслитерацию *ключевых понятий*, не имеющую ничего общего ни с «интерпретацией», ни с «созданием» новых версий иноязычных текстов. Ср.: «...Мы считаем закономерностью перевода феминистского текста невозможность перевести многие термины на русский язык (такие как *gender, nomadic subjectivity, female subject (she)* и др.)» (Здравомыслова Е., Темкина А. Введение. Феминистский перевод: текст, автор, дискурс // *Хрестоматия феминистских текстов. Переводы* / под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб., 2000. Цит. по: URL: <<http://www.eu.spb.ru/gender/publications.htm>>

³⁷ Воронина О. Социокультурные детерминанты развития гендерной теории в России и на Западе // *Общественные науки и современность*. 2000. № 4. С. 19.

минологической невнятности, к этой истории может добавить «гендер»? Теоретически же – помня выводы Мишеля Фуко о капиллярном присутствии власти, о ее скрытом/скрываемом характере – тезис о «безвластном» поле лишь подтверждает успешность символических действий самой власти, ее способность репрезентировать в качестве «абсолютно невинных» именно те объекты и явления, концентрация властных отношений в которых является особенно критической.

Не так давно, рассуждая об эволюции предложенной «полезной категории», Джоан Скотт – не без горечи – заметила, что деление «sex/gender» привело к неожиданному результату: *sex* стал восприниматься как неоспоримая данность, а *gender* в свою очередь приобрел «вкус обществоведческой нейтральности». Как пишет Скотт:

Именно поэтому все реже и реже в своих работах я использую *gender*, предпочитая вместо этого говорить о различиях между *sexes* и о биологическом *sex* как исторически изменчивой концепции. [Хотя] это... может быть воспринято (особенно в нынешнем дискурсивном контексте) как одобрение идеи о том, что *sex* является естественным фактом, мне все же кажется, что поиск терминов и теорий, способных поставить под сомнение самоочевидность истории вообще и истории женщин в частности, необходимо вести в другой плоскости. Я не предлагаю вычеркнуть из нашего словаря *gender* и те полезные понятия, которые ассоциируются с этим термином. Речь не идет и о попытке полицейского контроля над использованием этого термина для того, чтобы обеспечить господство нашего смысла. Это не только невозможно, но и свело бы на нет гибкость и подвижность языка, его решающую роль в социальных изменениях. Скорее, мне думается, нам нужно двигаться вперед, провоцируя переосмысление допущений, ставших уже рутинными. Именно тогда, когда мы думаем, что мы знаем точный смысл слова, именно тогда, когда его употребление перестает вызывать споры и дебаты, нам особенно нужны новые слова и новые концепции или, может быть, новые конфигурации и интерпретации уже существующих идей³⁸.

Вопрос в том, нужна ли *нам* эта ревизия уже существующих идей. Или мы так и останемся с «гендером»? Полезной категорией из чужого анализа...

³⁸ Scott J. *Millennial fantasies: The future of gender in the 21st century*. Текст выступления на семинаре *Production of the Past* 6 мая 2000 г., кафедра антропологии, Колумбийский университет (Нью-Йорк).

О муже(N)ственности

Помечая что-то как наличное, вы помещаете его тем самым на фоне его возможного отсутствия.

Жак Лакан

Попытка осмыслить содержание и конфигурации отечественной «мужественности», на мой взгляд, является одним из примеров интеллектуальной ревизии аналитического аппарата идентичности, о необходимости которой говорит Скотт. Попыткой ревизии терминологических, концептуальных, и методологических допущений того «мужского порядка», который в силу своей «самоочевидности» обычно вопросов не вызывает.

Упрощая, подходы к «мужественности» можно свести к трем основным тезисам – к тезису о *плюралистичной мужественности*, к тезису об *относительной мужественности* и, наконец, к тезису о *показательной мужественности*. Опираясь на примеры, взятые из отечественной массовой культуры, которая продолжает оставаться основным «поставщиком» моделей половой идентичности, в этой части статьи я попытаюсь очертить основной круг методологических предпосылок, с помощью которых появление данных «тезисов о мужественности» стало возможным.

Плюралистичная мужественность. Разумеется, один из наиболее простых и привлекательных способов анализа базовых противоречий *мужественности* состоит в традиционном стремлении вскрыть внутреннюю структуру этого знака, продемонстрировать *произвольность взаимосвязи* между «означающим» и «означаемым», которые его, собственно, и составляют³⁹. При таком подходе знак «мужественности» обычно распадается на множество форм «мужского поведения», и сосюрская дихотомия *означающее/означаемое* трансформируется в соответствующую дихотомию *категория/практика*, в которой «мужественность» (означающее) *проявляет себя* в неоднородной совокупности «мужских практик» (означаемые)⁴⁰. Например, в культовом советском

³⁹ У Соссюра: «Языковой знак связывает не вещь и ее название, а понятие и акустический образ. Этот последний является не материальным звучанием, вещь чисто физической, а психическим впечатком звучания, представлением, получаемым нами о нем посредством наших органов чувств... Языковой знак есть, таким образом, двусторонняя психическая сущность... Мы предлагаем сохранить слово *знак* для обозначения *целого* и заменить термины *понятие* и *акустический образ* соответственно терминами *означаемое* и *означающее*... (Соссюр Ф. *Труды по языкознанию*... С. 99–100).

⁴⁰ Хорошим примером подобного подхода является статья Т.Б. Щепанской о связи мужской магии и профессионализма. Анализируя такие «традиционные мужские профессии», как пастух, мельник, кузнец, коновал и плотник, этнограф прослеживает роль магии в определении статуса профессионала в деревне. Открытым, однако, остается вопрос о том, что «делает» ту или

фильме *Ирония судьбы, или С легким паром* закадровый (авторский?) голос наполняет соссюрговскую схему следующим содержанием:

...Раньше настоящие мужчины ходили в манеж гарцевать на выхоренных лошадях, отправлялись в тир стрелять в бубнового туза, в фехтовальные залы – сражаться на шпагах, в Английский клуб – сражаться за карточным столом, а в крайнем случае шли в балет. Сегодня настоящие мужчины ходят в баню. Тот, кто думает, что баня существует исключительно для мытья, глубоко заблуждается. В баню ходят главным образом для того, чтобы пообщаться друг с другом... В предбаннике современные голые мужчины, завернутые в белые простыни, наконец-то становятся похожими на римских патрициев. Именно предбанник и есть тот самый клуб, где, никуда не торопясь, позабыв каждодневную гонку, можно излить душу хорошему человеку⁴¹.

«Настоящность» мужчины, таким образом, определяется тем, куда этот мужчина *ходит*, т.е. смысл *явления* («настоящий мужчина») оказывается подмененным *объектом* действия (т.е. манеж, тир, зал, клуб, баня). Или – в иной транскрипции – позитивное значение («мужественности») в данном случае проявляется в виде *знаковых* («мужских») *действий*, призванных очертить семантические границы поля (мужского) пола.

Именно на этом семантическом, вернее, семиотическом характере *ритуалов* индивидуального поведения, в конспективной форме содержащих необходимую и достаточную информацию о половой идентичности их исполнителя, и фокусируются исследователи, трактующие «мужественность» как совокупность усвоенных и публично демонстрируемых знаковых образов и действий. Московский социолог Елена Мещеркина, на мой взгляд, хорошо сформулировала суть данного подхода, заметив, что в основе воспроизводства патриархальности лежат «возрождение *архетипов* мужской идентичности» и «*социокультурные механизмы*, которые через социализацию заставляют работать эти архетипы». По мнению социолога:

Набор архетипических ролей для мужчин фактически инвариантен для любой культуры: солдат, первопроходец, эксперт, кормилец и повелитель. Первопроходец и повелитель – роли, практически не встречающиеся в современном обществе, а роли эксперта и кормильца перестали быть исключительно мужскими. Единственная архетипическая возмож-

форму магии «мужской», т.е. что позволяет видеть в ней не столько показатель уровня «профессионализма», сколько проявление «мужского» характера конкретного «плотника» (см.: Щепанская Т.Б. Мужская магия и статус специалиста (по материалам русской деревни конца XIX–XX вв.) // *Мужской сборник. Вып. 1. Мужчина в традиционной культуре* / под ред. С.П. Бушкевич. М., 2001.)

⁴¹ Брагинский Э., Рязанов Э. *Тихие омуты*. М., 2000. С. 223.

ность реализации мужчины – солдат – выражает и сохраняет традиционно мужские характеристики⁴².

При таком подходе традиционно остается в тени то, что (якобы) метонимическая природа этих знаковых («архетипических») действий – т.е. их способность выступать *частичной* формой, *частичным* проявлением («репрезентацией») более *общего* явления – есть не что иное, как *стратегическая фантазия*, иллюзорная попытка скрыть фундаментальный факт отсутствия этого самого *общего* явления, отражениями которого и являются знаковые действия и «архетипы»⁴³. Как отмечал Жак Деррида, «когда мы оказываемся не в состоянии постичь или продемонстрировать явление, состояние наличия, наличия бытия, когда это наличие не в состоянии быть налицо, тогда мы означаем (signify), мы идем в обход при помощи знака»⁴⁴. Или, добавлю, при помощи *знаковых* действий.

Это фундаментальное «отсутствие присутствия», лежащее – в данном случае – в основе «мужественности», и эта неустанная символическая работа по воспроизводству соответствующих *знаков* и *знаковых* действий, которые и призваны компенсировать «наличие отсутствия», остается за скобками процесса аналитической «плюрализации мужественности». Несмотря на всю свою (временную) нужность и полезность, подобные попытки говорить о *вариативности* «нормативов» и изображений «мужественности», о *многочисленности* версий и форм практической реализации «мужественности», о характере иерархий этих форм и версий, наконец, о способах установления и поддержки гегемонии того или иного варианта «мужественности» в конечном итоге, как мне кажется, лишь воспроизводят ситуацию, о которой упоминает Деррида. Ситуацию, в которой попытки «живописать» знаковые «осколки мужественности» вольно или невольно становятся попыткой обхода (и ухода от) основного вопроса как о *категориальной*, структурной – т.е. лишенной *собственного* смысла – природе «мужественности», так и о причинах «инвариантности» набора этих «архетипических» осколков. Ситуацию, в которой забывается, что иерархическая лестница «геге-

⁴² Мещеркина Е. Институциональный сексизм и стереотипы маскулинности // *Гендерные аспекты социальной трансформации...* С. 198–199. См. также методологически сходную работу: Мещеркина Е. Биографии «новых русских»: Гендерная легитимация предпринимательства в постсоветском пространстве // *Гендерные исследования*. 1999. № 2. С. 123–145.

⁴³ Сергей Эйзенштейн в своих мемуарах сформулировал, как именно скрывается это отсутствие целого в кино: «Нужна особая синтезирующая способность мышления, чтобы из этих данных анализирующего зрения суметь разглядеть решающую деталь, характерную деталь, деталь, способную в осколке целого воссоздавать представление о целом» (Эйзенштейн С. *Мемуары*. Т. 2. М., 1997. С. 36). Показательно, что само фактическое отсутствие *целого*, его – целого – *осколочное*, раздробленное, частичное присутствие оказывается преодоленным посредством эффекта *аналитического* зрения.

⁴⁴ Derrida J. *Margins of philosophy*. Chicago, 1986. P. 9.

монной» («гегемониальной», «гегемонистской») мужественности в конечном итоге «ведет к нарисованным дверям»⁴⁵. И стремление (вос)создать исчерпывающую карту мест, в которые «ходит» мужчина (манеж, тир, зал, клуб, баня и пр.), оставляет за пределами этой картографической деятельности вопрос о целях и характере формирования самого феномена «мужчины».

Важно и другое. Как мне кажется, подход к анализу пола, при котором в центре внимания оказываются не столько различительные *признаки* (солдат, первопроходец, эксперт, кормилец, повелитель, кузнец, мельник и т.п.), сколько сами *практики различения*, является гораздо плодотворнее многочисленных попыток свести проблематику философии и социологии пола к «дурной бесконечности» его – пола – версий и вариантов. Какими бы подробными и изощренными ни являлись разнообразные типологии половых идентичностей, половых практик, половых желаний и т.п., они оказываются не в состоянии ответить на вопрос ни о том, что, собственно, лежит в основе этого неистощимого стремления к классификации, ни о том, откуда берет свои истоки эта неистребимая воля к дискурсивному – и, безусловно, исключительно академическому! – упорядочиванию и каталогизации фактов обыденной жизни.

Относительная мужественность. Один из способов преодоления аналитической тупиковости «мультикультурной мужественности» состоит в стремлении понять, что находится *за границей* понятия «мужественность», т. е. в определении тех комбинаций, в которых «мужественность» оказывается в состоянии продемонстрировать свою уникальность, в определении тех фоновых параметров, благодаря которым контуры «мужественности» просматриваются особенно отчетливо. Речь, таким образом, идет не столько об анализе отношений между *означающим* (например «мужественность») и *означаемым* (например «пол»), сколько об анализе отношений между разными *означающими*. Подобная смена аналитических приоритетов – это, разумеется, не просто еще одно упражнение в практике структурализма. Исходной точкой подобной смены является убеждение в том, что смысл категорий и явлений не носит метонимического характера, т.е. не является непосредственным производным, непосредственной функцией неких «глубинных», «данных» структур («сути»), а есть лишь ситуативный эффект, ситуативное следствие *отношений между категориями*. Признание того факта, что вне таких отношений категории собственного смысла не

⁴⁵ Шкловский В. *Третья фабрика...* С. 46. О «гегемонной мужественности» см., напр.: Чернова Ж. Нормативная мужская сексуальность: (ре)презентация в медиадискурсе // *В поисках сексуальности* / под ред. Е. Здравомысловой, Е. Темкиной. М., 2002. Теоретическую полемику с Р. Коннеллом, автором этой концепции, см.: *Gender and Society*. 1998. Vol. 12; критику концепции см.: Demetriou D. Connell's concept of hegemonic masculinity: A critique // *Theory and Society*. 2001. Vol. 30. № 3.

имеют, и позволяет избежать удушающего эффекта дискурсивной консолидации и *поляризации*, служащих основной для воспроизводства господствующих схем восприятия.

В более прикладном плане подобный подход проявляется в отказе от дихотомий, строящихся по принципу вертикали («поверхность/глубина») – например, дихотомия *практики пола/пол*, лежащая в основе процесса плюрализации «мужественностей» и «женственностей», – в пользу таких «горизонтальных» («плоскостных») пар, как, например, *мужественность/национальность*, *мужественность/возраст*, *мужественность/потребительство* и т.п. Подобная замена исследовательского вопроса *что означает этот знак?* на вопрос *в каком контексте находится этот знак?* предполагает и определенную трансформацию аналитического подхода: *этнография* «мужских практик» уступает место анализу *риторических приемов*, с помощью которых эти практики приобретают статус «мужских». *Семантика* «пола» оказывается подчиненной *риторике* «пола»: т.е. не столь важно, *что* именно говорится, важно, *как* достигается необходимый риторический эффект. В определенной степени подобный подход можно сравнить с техникой Э. Уорхолла, который в серии «портретов» М. Монро добивался вариативности зрительных эффектов *исключительно* при помощи использования различных красок для раскрашивания одного и того же лица-контура. В отличие, скажем, от кубизма или примитивизма, в данном случае новые зрительные эффекты достигались не за счет привычной *трансформации* образа – сама графическая *форма* образа у Уорхолла оставалась неизменной, – а за счет разнообразия *комбинаций* цветовых *поверхностей* этого образа.

Аналогичное внимание к *оформлению* – в прямом смысле этого слова – поверхностей «мужественности» позволяет установить те «цветовые» компоненты и комбинации, с помощью которых графический знак-контур оказывается в состоянии производить разнообразные смысловые эффекты⁴⁶. Приведу пару примеров. В романе Веры Кетлинской *Мужество* о строительстве Комсомольска-на-Амуре, написанном в конце 1930-х гг., приводится следующее авторское описание двух героев:

Геннадий Калюжный был прямодушен и упрям. Он принадлежал к породе людей, которые не дают себе труда много думать и охотно принимают готовыми результаты размышления других. Он был силен как бык и чувствовал в этой силе свою лучшую защиту и лучшее подспорье. Но, как большинство сильных мужчин, он был добр и нуждался в любимом и более слабом друге, чтобы расходовать свою силу на двоих. Этим другом был Сема. Они подружились много лет назад, еще мальчишками, когда Геннадий защитил Сему в неравной драке, в которой Сема ни за что не

⁴⁶ Использование подобного подхода подробнее см.: Vainshtein O. Russian dandyism: constructing a man of fashion // Clements B., Friedman R., Healey D. (eds.). *Russian masculinities in history and culture*. N. Y., 2002.

соглашался отступить. Сема был слишком горд, чтобы благодарить его, он ушел с окровавленной губой и синяками, но сохранил в глубине души признательность и восхищение. Они ходили еще некоторое время друг около друга, не сближаясь, пока Семе не удалось доказать Геннадия превосходство своего ума и своих знаний, чтобы таким образом уравнять шансы. Геннадий отнюдь не был горд, он был молодым теленком, готовым одинаково и бодаться и тереться мордой о ласковую руку. Он ринулся навстречу дружбе, отдавая ей целиком и заранее признавая себя слабейшим во всем, кроме мощи своих великолепных мускулов... На пути их дружбы еще ни разу не становилась женщина – это величайшее испытание мужской дружбы⁴⁷.

Вот в какой форме выступает само «величайшее испытание»:

Епифанов был так силен и так мощно здоров, что девушки представлялись ему страшно слабенькими. Они так малы, так непрочны, у них такие нежные косточки, такие слабые мускулы, такие маленькие ноги. Их слабость умиляла его и притягивала. Он твердо верил, что обязанность мужчины – охранять их, брать на себя все их заботы, быть их защитником и помощником. И вот теперь эта Лиденька... Он так ясно представлял себе ее беспомощность среди нахлынувших житейских дел... «Кто поможет ей? Кто снесет ей вещи на вокзал? Кто будет оберегать ее в поезде?» Он лег на койку, удрученный чужим горем...⁴⁸

Понятия «сила» и «слабость» подаются здесь сначала в виде тезиса об *одной силе на двоих*, который затем трансформируется в тезис о *силе как отсутствии слабости*. Риторический эффект достигается в общем-то традиционным способом – через подмену тезиса, в данном случае – через описание того, кто этой «силы» лишен. Различимость двух означающих, таким образом, конституируется как их *различность*, т.е. отдельные означающие превращаются в пару. Так «слабость» становится мерилom и гарантом «силы»: мощь Геннадия рисуется при помощи «окровавленной губы и синяков» Семы, сила Епифанова – посредством «нежных косточек» и «маленьких ног» бесчисленных лиденек. Благодаря принципу смещения в *центре описания* оказывается не столько сам главный герой, и даже не столько его непосредственные заслуги и подвиги, сколько фон, на котором контур героя выглядит наиболее выпукло. Важно и другое: в обоих случаях мотив «силы» возникает в контексте более широкой темы «внешней опасности», где «сила» выступает либо в качестве «лучшей защиты и лучшего подспорья» (у Геннадия), либо как условие реализации «обязанности мужчины» по охране женщины (у Епифанова). Показательно, что при этом *источник* (возможной) угрозы – надо полагать, со стороны других «сильных мужчин» – остается неупомянутым. Деконтекстуализация «внешней

(201)

«ЧЕЛОВЕК РОДА ОН»

⁴⁷ Кетлинская В. *Мужество*. М.; Л., 1960. С. 343–344.

⁴⁸ Там же. С. 369.

опасности» и постоянной «необходимости защиты» становится оправданной за счет тщательного «монтажа» кадров, за счет детального изображения (и постоянного присутствия) потенциальных «жертв». Мерилом героизма и легитимирующим принципом поддержки «боевой готовности» оказываются не сила противника и даже не количество затраченных усилий, а степень чужих страданий. Так сказать, чем ночь темнее, тем ярче звезды...⁴⁹

Таким образом, принципиальная зависимость от другого, вернее, само наличие *принципиально другого* становится определяющим для формирования «относительной мужественности». Индивидуальность (от лат. *individualis* – неделимый) оказывается в принципе невозможной и *относительность* превращается в *постоянное* условие существования. Жак Лакан на одном из своих семинаров, на мой взгляд, отразил эту фундаментальную относительность и зависимость идентичности от другого особенно четко:

Другой в подлинной речи – это тот, перед кем ты хочешь предстать узнанным. Но чтобы предстать узнанным перед Другим, нужно сначала признать его самого... Именно посредством признания Другого ты создаешь его – не в качестве незамутненного и простого элемента реальности, своего рода пешки или марионетки, но в качестве непреодолимого абсолюта, от существования которого – в качестве субъекта – зависит сама значимость той речи, благодаря которой ты и оказываешься узнан⁵⁰.

Как мне кажется, этот диалогизм идентичности, ее – идентичности – ориентированность вовне, ее стремление определить свои границы через определение границ Другого и – в силу этого – ее постоянная формообразующая зависимость от Другого, короче – именно эта исходная *разделенность*, эта изначальная, так сказать, *дивидуальность* («свое/чужое»), заставляет несколько настороженно относиться к попыткам видеть в (женском) Другом лишь отражение *кризиса* (мужской) идентичности, своего рода параноидальные фантазии, призванные компенсировать собственные фобии и комплексы *неполноценности*, своего рода собственную несамодостаточность⁵¹. Анализируя «маскулинность»

⁴⁹ Приведу еще одну цитату из мемуаров Эйзенштейна – в данном случае о роли монтажа в достижении необходимого зрительного эффекта. «Из "пучка возможных" элементов монтаж смелой рукой отбрасывал всё то, что в данном месте не было "необходимым"... Но мало этого, монтаж не только выбирал. Монтаж еще и интенсифицировал отобранное. Монтаж это делал магией размеров, заставляя вытаращенный глаз становиться размером с мчащийся на человека поезд, а пламя фитиля быть крупнее общего плана крепости, которая должна взорваться от его вспышки...» (Эйзенштейн С. *Мемуары*... С. 182–183).

⁵⁰ Lacan J. *The Seminar of Jacques Lacan. The psychoses (1955–1956)*. N. Y., 1997. P. 311.

⁵¹ О «кризисе маскулинности» см. классическую статью Пегги Уотсон: Watson P.

в категориях теории «мужского протеста» А. Адлера, московский исследователь А. Синельников, например, пишет:

...Маскулинность в момент своего первого проявления является паникой, опыт переживания которой характеризуется как нежеланием находиться в феминной позиции и быть идентифицированным посредством ее характеристик, так и бегством в маскулинность, которая в данной ситуации маркируется такими категориями, как «отсутствие» и «воображаемое»⁵².

«Отсутствие» в данном контексте, разумеется, синонимично «кастрации», временами, правда, понятой как «один из основных методов политической борьбы за репрезентацию в актуальной для патриархата системе взаимоотношений структур власти», преследующей «"выключение" субъекта» из поля политически значимых репрезентаций.⁵³ Проблематичность такой интерпретации «маскулинности-как-паники» и «паники-как-отсутствия», на мой взгляд, заключается не только в том, что она базируется на весьма своеобразной трактовке лакановских регистров⁵⁴, согласно которой досимволическое (*реальное* в терминологии Лакана) состояние индивида, предшествующее его последующей локализации в рамках языковой структуры (*символическое* у Лакана), в данном случае оказывается не столько не подлежащим символизации, сколько просто временно «выключенным» из структур символической власти. Важнее, на мой взгляд, устойчивое стремление увязать исходное *отсутствие* («кастрацию») с «феминностью» и тем самым *ретроспективно* придать структурную (дихотомическую) логику состоянию, не подлежащему (и не поддающемуся) структуризации⁵⁵.

(203)

Eastern Europe's silent revolution: gender // *Sociology*. August, 1993. Vol. 27. № 3; см. также: Кон И. Меняющиеся мужчины в изменяющемся мире // *Гендерный калейдоскоп...* С. 188–195; Здравомыслова Е., Темкина А. Кризис маскулинности в позднесоветском дискурсе // *О муже(Н)ственности* / сост. С. Ушакин. М., 2002; Walzer A. Narratives of contemporary male crisis: The (re)production of a national discourse // *The Journal of Men's Studies*. Winter, 2002. Vol. 10. № 2.

⁵² Синельников А. Паника, террор, кризис. Анатомия маскулинности // *Гендерные исследования*. 1998. № 1. С. 219.

⁵³ Там же. С. 223.

⁵⁴ О лакановской структуре, состоящей из «реального», «воображаемого» и «символического» регистров, см., напр.: Лакан Ж. *Функция и поле речи и языка в психоанализе*. М., 1995. С. 12–16; Лакан Ж. *Топика воображаемого* // Лакан Ж. *Работы Фрейда по технике психоанализа (1953/1954)*. Семинары. Книга 1. М., 1998.

⁵⁵ Подробнее о функциональном различии между «руслом смысла» и «руслом знака» (Лакан Ж. *Телевидение*. М., 2000. С. 17), т.е. о принципиальном несовпадении «космысленного» и «выраженного» см.: Kristeva J. *The new maladies of the soul*. N. Y., 1995. P. 103–104.

Напомню, что в основе лакановской трактовки идентификации⁵⁶ лежит общий вывод о «специфической для человека преждевременности рождения» (с. 512), т.е. об «органической недостаточности» (с. 511), которая оказывается преодоленной в процессе *становления и формирования* – первоначально в буквальном смысле этих слов. Говоря чуть иначе, преодоление при помощи символизации исходной недостаточности и неполноценности, исходной фрагментированности и расчлененности является «внутренним импульсом» *любой* идентичности (с. 512). Точнее – любая идентичность, понятая как та или иная социальная форма существования, при помощи которой субъект может рассчитывать на определенное узнавание/признание со стороны общества, призвана не столько *восполнить* и *возместить* эту не-полноценность, сколько – помня Деррида – *скрыть* это наличие отсутствия⁵⁷. И Другой, с принципиальной недостижимостью и непостижимостью его позиции, в этом процессе занимает не столько *противоположный*, запредельный фланг спектра идентификационных возможностей, сколько находится *в основе* самого процесса идентификации. Апелляция к Другому, ограничивая поле возможных идентичностей, придает им осмысленный, т.е. структурированный («свои/чужие»), характер вне зависимости от исходного «анатомического материала» субъекта. В процессе этой ограничивающей апелляции половая идентичность оказывается в тесной связи с остальными – «сексуальными», «национальными», «возрастными», «классовыми», «образовательными» и т.п. – нитями, собственно, и составляющими ткань идентификационного материала⁵⁸.

Приведу показательный пример тому, как эти два момента – т.е. *невозможность идентификации* вне постоянного (гипертрофированного) диалогического воспроизводства Другого и *мозаичность* идентичности, способной всякий раз приобретать собственный, отличный от составляющих ее фрагментов рисунок, – реализуются в текстуальной практике. Наталья Медведева, прозаик и певица, пишет:

Хочу быть русским мужиком, чтобы занимать сразу два места на сиденье метро, широко-широко раздвинув колени.

Чтобы, идя посредине Горького–Тверской, как харкнуть под ноги прохожему и чтобы, напившись, не отсиживаться дома, переть, переть в

⁵⁶ То есть «трансформации, происходящей с субъектом при ассимиляции им своего образа». См.: Лакан Ж. Стадия зеркала и её роль в формировании функции Я в том виде, в каком она предстает нам в психоаналитическом опыте // Лакан Ж. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/1955). М., 1999. С. 509. Далее в тексте страницы из этого издания приведены в скобках.

⁵⁷ См. подробнее: Laplanche J. *Life and death in psychoanalysis*. Baltimore, 1985. P. 70–71; Green A. *Life narcissism, death narcissism*. London, 2001. P. 1.

⁵⁸ См.: Oushakine S. The fatal splitting: Symbolizing anxiety in post-soviet Russia // *Ethnos: Journal of Anthropology*. 2001. Vol. 66 (3).

общественные места, стукая обо все углы атташе-кейсом, – пальто на-распашку, ширинка тоже, икая, рожка красная, переть пьяным и подтвер-ждать этим идентичность президента с народом...

Хочу не производить впечатления бабы, которая может дать в морду, а хочу быть русским мужиком, чтобы дать в лоб этому гаду, газующему на перекрестке, подойти к его опущенному стеклу и со всего маху врезать в лоб...

Хочу быть русским мужиком, чтобы выгнать всех иностранцев, занять их офисы, всю технику-аппаратуру испортить-сломать, и первым делом туалеты...

Хочу быть русским мужиком, чтобы назло всем (пусть об этом никто и не узнает) пустить свою жизнь под откос, кривляясь: «Моя жизнь, что хочу, то и делаю!»

Хочу быть русским мужиком, чтобы истребить всех – коммуняг и демо-кратов, фашистов и педерастов, интердевочек, рэкетиров и рокеров – за-крыть границы и наконец-то пожить...⁵⁹

Речь не о том, что формирование (негативного) образа Другого в процессе идентификации не зависит от половой принадлежности ин-дивида. Речь о том, что в отсутствие Другого, способного обозначить пределы и лимиты субъекта, невозможной оказывается (ретроспек-тивная) локализация и – помня Бурдые – объективизация самого субъ-екта идентификации. Именно эта постоянная потребность в Другом, именно эта радикальная (или радикализованная?) оппозиционность *женственности*, с помощью которой *мужественность* поддерживает видимость своей категориальной *самостоятельности*, и превращает ее в *муже(N)ственность*, где неизвестность *N* одновременно является источником и постоянного беспокойства, и постоянной потребности в иллюзорной реставрации никогда не существовавшей «целостности», будь то целостность понятия или целостность идентичности. Именно об этой конституирующей раздвоенности субъективности, точнее – об этой принципиальной *внеаходимости* субъекта, одновременно акцен-тирующей и его находимость *вовне*, и его положение *за пределами* «на-ходимости», – писал в 1940-х гг. Михаил Бахтин:

Не я смотрю *изнутри* своими глазами на мир, а я смотрю на себя глазами мира, чужими глазами; я одержим другим. ...У меня нет своей точки зрения на себя извне, у меня нет подхода к своему собственному внут-реннему образу. Из моих глаз глядят чужие глаза⁶⁰.

Любопытно, что в своем анализе русских сказок Владимир Пропп также замечает, что «осознание недостачи» или утраты («одному из членов семьи чего-либо не хватает, ему хочется иметь что-либо») является *обязательной и единственной* формой завязки волшебной

⁵⁹ Медведева Н. *Ночная певица*. М., 2000. С. 88.

⁶⁰ Бахтин М. *Человек у зеркала* // Бахтин М. *Собрание соч.* Т. 5. М., 1996. С. 71.

сказки⁶¹. Иными словами, осознание лишенности становится основой сюжетостроения:

В тех сказках, где нет нанесения вреда, ему соответствует... недостача... Начальная нехватка или недостача представляет собой ситуацию. Можно представить, что до начала действия она длилась годами. Но настает момент, когда отправитель или искатель вдруг понимает, что ему чего-то не хватает... Герой (или отправитель) теряет душевное равновесие, загораются тоской по раз увиденной красоте, и отсюда развивается всё действие... [Также] недостача осознается через персонажей-посредников, которые обращают внимание Ивана на то, что ему недостает чего-либо. Чаще всего это родители, которые находят, что сыну нужна невеста. Эту же роль играют рассказы о необычных красавицах. Эти и подобные рассказы... вызывают поиски⁶².

Вывод Проппа в полной мере приложим и к анализу «мужественности»: осознание и преодоление «начальной нехватки», «недостачи», иными словами, осознание и преодоление очередным «Иваном» исходной внеаходимости себя, изначального *отсутствия* целостности («мужественности») становятся и источником развития, и содержанием сюжета его жизни. Или, чуть в иной форме, – желание «*Кабы я была царицей...*» оказывается отправной точкой *Сказки о царе Салтане*.

Показательная мужественность. Как уже говорилось, следуя сосюрловской логике знака, смысловые эффекты *мужественности* могут быть произведены при помощи использования ряда структурных возможностей самого знака. Анализ отношений *внутри* знака (т.е. анализ отношений *связи* между означающим и означаемым) позволяет продемонстрировать многообразие означающих («практики»), которые оказываются «подверстаны» к одному и тому же означаемому («пол»). В свою очередь, акцент на местоположении знака («мужественности») *в цепи других* знаков («женственность», «национальность», «профессия», «сексуальность» и т.п.) дает возможность определить те синтаксические и лексические «комбинации», в которых *мужественность* достигает желаемого смыслового эффекта особенно четко. В обоих случаях, однако, этот эффект во многом строится на логике отражения, согласно которой в каждом из *осколков* «мужественности» находит свое проявление некий скрытый, глубинный, сущностный смысл *целостной* «мужественности». Вопрос, соответственно, в том, насколько оправдан данный тезис о *мужественности-как-таковой*? Не являются ли эти разрозненные, несовпадающие, нестыкующиеся «осколки» собственно «зеркалами», никогда и не имевшими «целостной» формы? И насколько целесообразно в прин-

⁶¹ Пропп В. *Морфология сказки. Исторические корни волшебной сказки*. М., 1998. С. 30–31.

⁶² Там же. С. 58–59.

ципе говорить о *глубине* отражений этих «зеркал»? Иными словами, не является ли эта «осколочная мужественность» единственно доступной и возможной формой «мужественности»? Насколько реально ее «внесценическое», *закулисное*, так сказать, «*метафизическое*», существование? Без *помощи* традиционных реквизитов, мизансцен и сценариев?..

На мой взгляд, Джудит Батлер, американский философ из университета в Беркли, абсолютно права, когда – следуя Жаку Лакану – говорит о том, что (любая) идентичность не мыслима и не существует вне своего основного принципа – принципа цитатности, т.е. вне воспроизводства сложившихся общепризнанных дискурсивных форм. Однако в отличие от многочисленных вариантов теории социализации с ее «ролевыми играми» и «стратегическими саморепрезентациями» цитатная идентичность Батлер не предполагает наличия «метатекста» – будь то метаядентичность (например, в виде *мужчины*), метаструктура (например, в виде *пола*) или метафункция (например, в виде *биологии*), – сюжетное развитие которого могло бы связать воедино все исполняемые «роли». Скорее, «цитаты» в данном случае являются несовпадающими дискурсивными продуктами, *одномоментно* существующими в символическом поле и *одинаково* доступными для комбинации. И логика *сочетаемости* «цитат» определяется не столько историческим прошлым источников, сколько способностью создаваемого «текста» поддерживать сохранность/устойчивость «сцеплений» и «швов» между «цитатами». Именно благодаря отсутствию *основной* темы разрозненные «цитаты» превращаются из традиционного дополнения или иллюстрации к *авторскому* тексту в самостоятельный текст, не существующий и не возможный вне своей цитатности. «Никакой половой идентичности за проявлениями пола не скрывается, – пишет Батлер, – ... идентичность конституируется в процессе представления теми самыми «проявлениями», которые считаются ее результатами»⁶³. Поясню эту идею на примере.

В пародийном романе Юрия Полякова *Козленок в молоке* главное действующее лицо берется сделать «знаменитого писателя» из первого попавшегося встречного («Витька»). Вернее – добиться для этого «Витька» «всенародной славы» исключительно нелитературными методами. Вот как описывает процесс *конструирования* «образа писателя» главный герой:

...Писатель не может быть одет, как рядовой инженер или учитель, ибо тогда сразу возникает законный вопрос: почему в этом случае он работает писателем, а не инженером или учителем? Конечно, проще всего было взять пример с дедушки Хэма – ковбойка, грубый свитер, джинсы, ботинки на толстой каучуковой подошве. Но по этому пути уже не первое десятилетие идут графоманы всех рас и народов, и тут легко затеряться. В задумчивости я распахнул мой платяной шкаф. Первое, что бросилось

⁶³ Butler J. *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. N. Y., 1990. P. 25.

в глаза, – торчавшая из кучи тряпья пятнистая штанина... Эти десантные брюки лет десять назад мне подарили в одной воинской части... Я... внимательно осмотрел пятнистые брюки и решил принять их за основу. Следующим был синий стеганый восточный халат, полученный в подарок от кумырского поэта Эчигельдеева... Поразмыслив, я отложил халат в сторону, ибо он придавал будущему имиджу Витька некоторую излишнюю ориенталистичность... Но вот следующую вещицу – черную майку с надписью *LOVE IS GOD* – я решил пустить в дело... В самой глубине шифоньера, точно хищник, затаилась лохматая доха закарпатского пастуха... получился довольно забавный силуэт... С головой дело обстояло сложнее. Широкополую шляпу я отверг с ходу, ибо в ней было что-то извращенно-эстетское, совершенно не подходящее лесному гению из заснеженной деревушки Щимыти. Но и кожаная кепка с пуговкой на макушке, в просторечье – «цэдээловка», тоже не подходила Витьку, ибо каждый самонадеянный графоман, срифмовавший за всю свою жизнь четыре строчки, норовил завести себе такую же. ...Теннисная повязка с надписью *Wimbledon*... достойно увенчала мои поиски... С одеждой вопрос был решен положительно. Как говорится, по одежке встречают... Но провожают, разумеется, не по уму, а по тому, что давно уже в нашем вывихнутом мире успешно заменяет ум – по словам. Слова-то для Витька мне и предстояло придумать...⁶⁴

- (208) При всей своей комичности этот отрывок, тем не менее, хорошо иллюстрирует суть *показательной мужественности*, основанной на принципе цитатности. Смысловый эффект, с одной стороны, достигается знакомым способом – путем *демонстрации* определенных, легко прочитываемых знаков, каждый из которых, в свою очередь, мог бы стать началом отдельной знаковой *цепочки*, раскрывающей глубинные смыслы идентичности. В то же время принципиальное отличие данного типа «мужественности» состоит в том, что традиционные внешние «показатели содержания» (пятнистые брюки, черная майка, пастушья доха, теннисная повязка) ни *показательной* функции – т.е. ориентирующей и отсылающей к другим смысловым уровням, – ни *содержательной* функции – т.е. разъясняющей суть происходящего, – здесь не выполняют. Лишенные своего «внутреннего» и «внешнего» контекста, «показатели» приобретают смысл лишь благодаря *формальным отличительным* признакам, лишь благодаря способности не совпадать друг с другом в пределах сложившейся/сложенной комбинации. Знаковые *действия* (походы в манеж, тир, зал, клуб, баню...) сменяются действиями знаков (брюки, майка, доха, повязка...). Вернее, действиями *между* разными знаками.

Подобная *поверхностная*, не претендующая на глубину, роль знаков в формировании *показательной мужественности*, на мой взгляд, не имеет ничего общего с идеей карнавального, маскарадного травести-

⁶⁴ Поляков Ю. *Козленок в молоке*. М., 1997. С. 61–66.

рования существующего символического порядка. В основе данного подхода лежит феномен *мимикрии*, сходный, но несовпадающий с идеей маскарада. Подобно маскараду, мимикрия строится на игре с поверхностями. Однако если за маской участника маскарада скрывается лицо, если суть маскировки/маскарада и состоит в изначальном существовании *расхождения* между лицом и маской, то «поверхностная игра» мимикрии – «телепластика» в определении Роже Кайуа⁶⁵ – преследует иную цель: личиной мимикрирующей поверхности продемонстрировать принципиальную «нехватку», манифестировать «**наличие** отсутствия» какого бы то ни было исходного, «основного лица». Показателем «мужественности» становится тот невыразимый *Ъ*, благодаря которому очередной «коммерсантъ» молчаливо строит свою *знаковую* стратегию (языкового) отличия: отсутствующего в речи, видимого при письме.

«Футляр» наличной идентичности, выстроенный для внешнего – показательного и показного – потребления, таким образом, становится одновременно и броней, и тем «наружным скелетом», защитные свойства которого позволяют начать заполнение внутренних пустот. И символическая, дискурсивная, знаковая природа этого «футляра», его заимствованность, двойственная («своя/чужая») принадлежность не должны скрывать принципиальной конституирующей функции.

Подобная цитатность, понятая как форма существования, в свою очередь, позволила Батлер говорить о *представляемом*⁶⁶ (performative) характере «пола» и «идентичности». То есть о характере, который одновременно подчеркивает *воспроизводимость, повторяемость, цитируемость* – т.е. в буквальном смысле *представляемость* и *показательность* того, что принято считать «типичными половыми признаками», – и в то же время самим фактом своего *представления* четко обозначает *сфабрикованную, замещающую, идеализированную* природу признаков. Вопрос, естественно, в том, что лежит в основе риторической эффективности и эффектности этих призрачных признаков?

Говоря об эмоциональной убедительности определенных речевых практик, которые даже вне своего привычного контекста могут производить сильный эмоциональный эффект (например, оскорбления со стороны посторонних, чей статус и мнение неважны), Батлер отмечает:

Основа временного успеха представляемого (a performative)... заключается не в том, что намерение [оскорбить] поглощает собой сам речевой акт, но только в том, что этот акт есть эхо предыдущих действий, в том, что он *аккумулирует силу власти посредством воспроизводства и цитирования ряда действий, которые пользуются влиянием*. Дело не только в

⁶⁵ Кайуа Р. *Миф и человек. Человек и сакральное*. М., 2003. С. 93.

⁶⁶ «Представлять» по Далю – «доставить, поставить человека налицо», «отрекомендовать, назвать наличного человека», «изобразить, изъяснить словами», наконец – «корчить, подражать, принимать вид, наружность чью-либо».

том, что речевой акт в данном случае имеет место в рамках практики, но в том, что этот акт сам по себе уже есть ритуализированная практика. Представляемое, таким образом, «работает» лишь тогда, когда оно и *основывается* на конституциональных конвенциях, благодаря которым стало возможным, и одновременно *перекрывает* их. В этом смысле ни термин, ни заявление не могут функционировать представительно без аккумуляции и симуляции историчности силы⁶⁷.

Эффективность цитирования, иными словами, определяется не столько фактом *воспроизведения* уже известного «текста», сколько способностью очередного «Витька-писателя» вызвать в потенциальном «читателе» реакцию *узнавания* исходного контекста, реакцию *воспоминания* предыдущих встреч с той или иной «цитатой». «Система человеческих отношений, – писал Шкловский, – раз созданная, переживает себя, она существует в какой-то мере и по инерции. Создаются целые сети автоматизированных поступков, которые не осознаются; они являются как бы явлениями симметрии, доказываясь по подобию»⁶⁸. Соответственно, добавлю, существует и целая сеть *приемов*, способных «спровоцировать» цепочку автоматизированного узнавания⁶⁹, одним из которых и является «цитирование»⁷⁰. Уникальность подобной символической деятельности, однако, состоит в том, что «цитирующий» оказывается в состоянии произвести смысловой эффект даже в том случае, если он(а) и не подозревает о существовании «оригинала» и имеет дело исключительно с «копиями» и «репродукциями». Достаточно, чтобы об оригинале знали «читатели».

Залог смыслового эффекта *представляемого*, его убедительность, таким образом, заключаются в степени *прошлой* авторитетности и авторитарности доступных для воспроизведения слов, жестов и действий⁷¹.

⁶⁷ Butler J. *Excitable speech: A politics of performativity*. N. Y., 1997. P. 51.

⁶⁸ Шкловский В. *Повести о прозе: Размышления и разборы*. М., 1966. С. 303.

⁶⁹ Ср. у Витгенштейна: «Всякая языковая игра основывается на узнавании слов и предметов» (Витгенштейн Л. *О достоверности...* С. 377).

⁷⁰ Э. Гомбрих в своей работе о восприятии искусства придавал эффекту «узнавания» ключевое значение для развития живописи. Как писал искусствовед, «индивидуальная информация, полученная зрителем... оказывается, так сказать, занесенной в уже существующий бланк или формуляр. И, как это часто случается с бланками, если в них нет соответствующей графы для сведений, которые нам кажутся важными, тем хуже для этих сведений... Подобно адвокату или статистику, которые оказываются не в состоянии справиться с делом, не вписывающимся в структуру существующих форм и бланков, художник мог бы сказать, что та или иная тема (*motif*) не заслуживают внимания до той поры, пока художник не научится... ловить ее в сети своей схемы» (см.: Gombrich E. H. *Art and illusion: A study in the psychology of pictorial representation*. Princeton, 1989. P. 73). Историко-теоретический анализ темы «узнавания» см. в работе Карло Гинзбурга: Ginzburg C. *The clues, myths, and the historical method*. Baltimore, 1992. P. 52–57.

⁷¹ См.: Butler J. *Gender Trouble...* P. 136.

В свою очередь, и идентичность, строящаяся по принципу формальной комбинации «несовпадающих» цитат, одновременно способствует непрекращающейся циркуляции множества доступных приемов кодификации реальности и – именно в силу множественности способов символического воздействия – не использует ни один из них в качестве «основной темы», способной задать «тон» и *определить* (т.е. ограничить) направление «общего» развития.

Мозаичность идентичности оказывается калейдоскопичной, и ее сиюминутная целостность достигается как благодаря наличию разрозненных фрагментов-цитат, так и их зеркальному окружению, сфокусированному целенаправленным взглядом. Павел Романов, на мой взгляд, абсолютно точно сформулировал суть этого явления, заметив, что мужественность «мужчины-фланера, то появляющегося, то исчезающего в мозаике постсовременности... разбита на фрагменты, и если в одном фрагменте он защищает слабых, то в другом – выступает хладнокровным киллером... В этом бесконечном фланировании единственной возможностью выживания остаются безучастие, невовлеченность, помогающие фланеру остаться легким. Остановиться, вовлечься во что-то полностью означает погибнуть. У фланеров нет четко отграниченных границ бытия, начала и конца, просто один из них сменяет другого, занимая его место в общем потоке перемещений»⁷².

Анализ биографий в итоге вытесняется анализом дискурсивных форм, из которых эта биография составлена. И «степень мужественности» говорящего субъекта отражает степень владения субъектом соответствующими формами речи, т.е. его способностью почувствовать «разобщенность форм» и использовать их в нужных целях⁷³. Иерархия «мужественностей», таким образом, воспроизводит существующую иерархию доступности дискурсивных форм, не связанных напрямую с половой идентичностью. Непротиворечивость этих форм в рамках той или иной жанровой разновидности «мужественности», их стилевая «целостность» есть отражение корректирующей дискурсивной практики, следствие своеобразного – посредством *поляризации* и *маргинализации* – дискурсивного «монтажа кадров», целью которого является воспроизводство очередного футляра половой идентичности. Очередного человека в футляре. Человека «рода он».

(211)

⁷² Романов П. *Брат во фрагментах: Эссе о репрезентации постмодерной маскулинности // Социокультурный анализ гендерных отношений /* под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой. Саратов, 1998. С. 31.

⁷³ Шкловский В. *Гамбургский счет*. СПб., 2000. С. 219.